



— Если ты хороший начальник,— сказал Пата,— то почему люди, если тебя нет рядом, хуже работать начинают, а? У хорошего начальника так дело поставлено, что без него люди еще лучше работают.

Он постоял над обрывом еще немного, вытер ладонью пот со лба и, глубоко вздохнув, закончил:

— Я — плохой начальник...

Мы сели в машину, проехали еще километра два и снова остановились, Пата прошел по белой, усыпанной щебнем тропинке к обрыву над Малым Зеленчуком. Сухой ветер тихо плыл по ущелью, лишь изредка взметывая белую пыль на побитых дорогах. Солнце неистово светило над обширной долиной, растянувшейся вправо и влево от нас, над темной громадой Эльбурганского леса, над чистой водой Малого Зеленчука, глухо катившегося глубоко под нами.

Там же внизу, в синем мареве воды и воздуха, белел мост, на котором время от времени появлялись то тяжелая грузовая машина, то трактор с переваливающимся от тяжести прицепом. Но машины, которую мы ждали и на которой должен был приехать представитель конторы «Заготскот», все не было, и Пата беспокоился, что шофер, получивший приказание привезти этого самого представителя, заехал предварительно к какой-нибудь своей родне. Этим и объяснились горькие слова, сказанные в собственный адрес.

Он еще раз вздохнул, повернулся, посмотрел на длинные, извилистые улочки аула, что оставался от нас справа, и сказал:

— Это аул Зеюко. Знаешь, что означает по-русски?

— Нет.

— Кизиловая Балка. Здесь по ущельям всегда было много кизила. Здесь жили наши предки. Но однажды некоторые молодые люди поднялись, собрали свое имущество, взяли из отцовских хозяйств по теленку и по лошади и айда на правый берег реки.

— Почему они это сделали?

— Со стариками жить надоело. Ворчливые бывают старики,— пояснил Пата и продолжал:

— Так вот. Пошли они на правый берег и поставили свои домики вон там, где сейчас правление колхоза, видишь? Поставили и стали жить, но имени аулу своему не дали. Думали-думали, как его назвать, и однажды пришли посмотреть с того берега, как родной их аул живет — все-таки совесть мучила их немного. Стоят на том берегу, а на этот берег старики вышли, молча смотрят на них, а потом один старик возьми и крикни «Кош хабль!». Это по-русски означает «аул отколовшихся». Услыхали молодые и порешили так и назвать свой аул. Вот это — Кош Хабль,— говорит Пата, простирая свою небольшую, но крепкую руку по направлению к строящимся авторемонтным мастерским.

— А дальше, за Кош Хаблем есть еще один аул. Малый Зеленчук называется. Тут переводить не надо, а? Вот эти три аула и образуют наш колхоз «Путь Ильича», — тысяча двести дворов... А, сын гяура, едет, наконец-то! — перебил он сам себя и быстро зашагал к машине, где дремал шофер. За рекой, в яростных клубах пыли, несся «газик» желтоватого цвета. Судя по скорости «газика», водитель явно торопился.

Пата — это не фамилия, ибо фа-

милия этого коренастого, чрезвычайно живого человека Аргунов. Это не имя, потому что зовут его Абубекир. Наконец, это и не отчество, поскольку в паспорте у него записано: Дадимович. И тем не менее всюду — в Кош Хабле и в Зеюко, в Зеленчуке и в Черкесске его знают как Пату. Так его называют, когда здороваются с ним, и за глаза тоже, и у каждого при этом появляется на лице добрая, светлая улыбка, словно при одном только имени этом становится всем чисто и светло. Он — председатель одного из лучших колхозов не только на Ставрополье, но и в стране, Герой Социалистического Труда, кавалер многих орденов и медалей, остался по сути, если не обращать внимания на годы, каким и был — скромным и умным черкесским парнем, которого его мать еще в детстве называла ласкательным именем Пата. Это труднопереводимое слово. Имеет оно несколько значений, в том числе и «добрый», и «справедливый», и «умный». Имя это пришлось как нельзя более кстати к нему и потому осталось на всю жизнь, пройдя сквозь юность, фронт, тяжкую и нескончаемую работу. Как же поднялся он от простого парня до руководителя крупного хозяйства, до всех высших званий и орденов? Причин тут много, конечно, но главной, мне кажется, одна: он отличный хозяин.

Я вспоминаю, как несколько лет назад собрались к нему его товарищи — руководители колхозов края, в том числе и самых знаменитых, партийные и советские работники, представители прессы. Повод был серьезный: Пате, в связи с пятидесятилетием, присвоили звание Героя. Откровенно говоря, не хотелось ему устраивать торжество, но нельзя было преступить законы горского гостеприимства, и он с искренней радостью принимал все новых и новых гостей. В конце концов выяснилось, что гостей не сможет вместить никакое, даже самое крупное помещение аула. Хорошо, что было лето и потому в самый короткий срок в Эльбурганском лесу, рядом с весело журчащим ручьем, вырос на солидных столбах гигантский навес, под которым разместились длинные столы и скамейки из

добротных, но не покрашенных досок. Было много веселья — и хозяин, и гости мастера на шутку, — но вдруг один из гостей сказал, произнося тост:

— Скажи, Пата, почему ты отнес свой праздник так далеко от аула и что ты собираешься делать с этим дворцом, когда мы разъедемся?

Пата хитро улыбнулся и ответил:

— Спасибо гостям — они всегда подвигают на доброе дело. Теперь, когда они уедут, то мы возьмем эти доски, — он показал на столы и скамейки, — поставим их туда, — он показал на широкие проемы вместо стен, — вода рядом, он показал на ручей, — и хороший коровник получится для колхоза.

Громкий, одобрительный хохот и горячие аплодисменты были ответом ему на эти слова. В этом поступке весь Абубекир Дадимович Аргунов, Пата...

По узкой извилистой дороге поднимались мы к гурту, из которого предполагалось выбирать скот на мясозаготовку. Заготовитель был человек пожилой и веселый, к тому же хорошо знал Пату и дела в его колхозе, поэтому разговор то и дело сбивался с общих тем на колхозные. Говорили о том, что молока сдали недостаточно, потому вот мясом приходится компенсировать, но зато картошка в этом году хороша.

Мы пересекли живописные ущелья, поросшие густой травой и кустарником, похожими издали на терновые заросли. Стояла ранняя осень, и воздух, как всегда в это время года, был густо налит запахами увядших цветов, разнотравного сена, и откуда-то совсем уже издали дымком от горящей ботвы.

За одним из увалов показалось стадо. Пата даже удивился, что так близко, но, приглядевшись, понял, что это пасутся коровы колхозников. Когда мы проезжали мимо пастуха — молодого совсем еще мужчины, — тот радостно улыбнулся и помахал рукой. Машина ушла за поворот, и так бы и не запомнился этот эпизод, если бы заготовитель не спросил Пату:

— Как же его нашли?

— Еле-еле, — сказал Абубекир Дадимович и, повернувшись ко мне,

пояснил, что пастух этот зимой прошлого года, поругавшись с женой, исчез из аула.

— На следующий день его жена приходит ко мне и говорит: «Найди мужа». «А где он?» — спрашиваю. «Поругались, — говорит, — он и ушел». «Из-за чего поругались?» «Не знаешь, как бывает? Он одно говорит, а я другое, он так, а я вот как. Он и ушел. Найди, Пата». «Да где же его искать?» — спрашиваю. «Не знаю», — говорит...

Ну, пятнадцать дней искали, всех подключили — зима все-таки, погибнуть человек может. Наконец, сообщили из станицы Исправной, что видели его на высокогорных пастбищах, на Верхней Башкирке. Забился там в домик и живет. Привезли. «Почему ушел?» — спрашиваю. «Попугать хотел...» «Да кто же так пугает?» «А, — говорит, — надоела она мне...» Сейчас хорошо живут, видно и правда напугал...

И снова машина бежит по увалам, по причудливо размытым беловатым ущельям, пока не показался гурт на крутом травянистом склоне.

Шофер, демонстрируя свое мастерство, свернул с дороги, спустился к гурту прямо по скользкой траве и остановился рядом с парнишкой, сидевшим на вздрагивавшей от присутствия посторонних молодой лошади.

Председатель сразу направился к гурту. Он внимательно осматривал его, время от времени о чем-то спрашивая парнишку. Мы с заготовителем поспешили к нему, и тут начался разговор, смысл которого сводился к тому, что Аргунову отчаянно жаль было отдавать одного великолепного, замечательного, жирного бычка, а заготовитель не мог согласиться, что вместо полноценного, или хотя бы среднего мяса, ему подсовывают нижесреднее. В конце концов все закончилось хорошо, и Пата, взглянув на небо, сказал, что, может, еще успеет навесить первую бригаду, где люди на картошке работают.

...Вечерело. Низкие тучи подходили с юго-запада, обещая непогоду, и это обстоятельство на какое-то время испортило настроение Аргунову. Он реже

отвечал на шутки, улыбался не так заразительно и чаще посматривал по сторонам, где изредка еще встречались неубранные копны. Вскоре увалы закончились, и мы выскочили на широкое плоскогорье, на котором там и тут виднелись люди и тракторы. Мы остановились возле большой группы работающих на картофельном поле людей и вышли из машины. Шофер наш немедленно задремал, плотно прикрыв дверцы: наверху было прохладно...

Люди на поле работали дружно. Они выбирали картофель из земли, перекадывая его в широкие корзины, потом несли к огромным буртам и высыпали. Другие, у буртов, выравнивали эти мелкие кучки и когда бурт становился полным, укрывали его ботвой, а потом засыпали плотным слоем земли.

По мере того, как мы проходили, люди разгибались, здоровались: с Патой весело и непринужденно, с нами просто, вежливо. А картошка и впрямь была хороша: крупная, ровная, белая, одна к одной, даже с виду, даже сырая вкусная!

Аргунов остановился с бригадиром. Озабоченно посматривал на небо, тучи на котором густели все больше: он спросил, успеет ли бригада убрать все до дождя?

— Конечно, успеет, — уверенно сказал бригадир. — Разве не видишь как работают!

Попрощавшись с бригадиром, с довольным видом зашагал к машине, размышляя, быть может, о том, что хороший урожай всем приносит хорошее настроение...

В правление мы вернулись уже довольно поздно, когда в ауле кое-где начинали гасить огни. Думали, что никого, кроме сторожа нет там, но ошиблись. Только зашли в кабинет и только председатель успел произнести: «Уф!», как дверь кабинета снова распахнулась, и вошедший мужчина еще с порога крикнул:

— Привет!

— Что с тобой, Амин? — спросил Пата. — Так поздно, а ты не спишь.

— Гостю твоему тоже привет, — сказал Амин, — и приглашение.

— Куда приглашение? — спросил

Пата.— На какую радость?

—У меня одна радость, Пата, а у тебя — две,— горделиво сообщил мужчина и сдвинул на затылок войлочную белую шляпу.

— Что случилось?

— Жена моя двоих родила, Пата,— сказал Амин, расплываясь в улыбке до ушей.— Теперь у меня одиннадцать, вот как!

— Плакать надо, а не смеяться,— проговорил Пата, сам, впрочем, весело смеясь.

— Зачем плакать? — удивился Амин.— Радоваться надо! Пойдем, Пата, выпьем немного... Работников у тебя прибавляется...

Над аулом висела ночь, расцветная огнями окон. Сияли звезды, звучали человеческие голоса и щемяще пахло печеной картошкой.

...Мне нравится ездить с ним по колхозным полям. Он не слишком разговорчив, когда дело касается его самого, но о людях своих говорит с удовольствием, иногда серьезно, даже с грустью, если у них неудачи, чаще с добрым юмором, с шуткой, от которой у слушателей его обнажается все прекрасное в душе. В такие минуты начинаешь понимать и его самого, и слова, которые однажды он обронил:

— Очень жалею, что не пришлось мне учиться в юности...

Я промолчал, потому что любые слова утешения или сочувствия прозвучали бы глупо и оскорбительно по отношению к нему, а он через некоторое время прибавил:

- Академий моей был народ...

И я понял, что банальная в общем-то фраза, звучащая слишком часто по поводу жизни мелких, а порой и просто ничтожных, фраза, служащая иным вместо щита, прикрывающего их леность или неспособность к большой работе, у Паты не просто выстрадана трудными годами его жизни. Она перестала звучать как фраза, а обратилась в мысль, без какой не начинается ни одно значительное дело. С этой мыслью он и живет постоянно. И потому, что он бывает суров прежде всего к самому

себе, люди не только прощают ему суровость по отношению к ним, но принимают ее как нечто само собой разумеющееся, как единственную справедливость. И перед этой его справедливостью меркнут обычаи, умолкают привычки, стихают недобрые страсти.

Я люблю подниматься с ним в ранние часы, когда утренний свет еще едва только просачивается сквозь туманные стекла окон, а вода в рукомойнике обжигающе холодна, и тяжелые росы, кажется, пригибают к земле ветви деревьев. Мы проходим на хозяйственный двор колхоза, который расположен рядом с его домом, заводим и прогреваем машину, он садится за руль, и мы едем по бригадам.

Еще только шесть часов утра, но люди в колхозах вообще поднимаются рано, а тем более там, где председателем Пата. Его дни начинаются с людьми и кончаются с ними, а в промежутках он успевает разобрать документацию, подготовленную бухгалтерией, решить десятки совершенно неотложных вопросов, организовать транспорт на уборку свеклы или перевозку сена, позвонить, в областные организации и договориться в одной насчет шофера, в другой относительно газовых баллонов, которые для жителей трех его аулов, пока не проведен газ стационарный, являются большим дефицитом. Мне нравится, как он говорит с людьми, никогда не повышая голоса, чаще всего заканчивая разговор шуткой, если все складывается к общему удовлетворению. Но он умеет и показать, что внутреннее человеческое невежество, неуважение и невнимание одного человека к другому ничуть не лучше откровенного хамства. Если такое случается при нем, он мрачнеет и молчит. И людям, виновникам этого неуважения, становится как-то неуютно, что ли...

Однажды осенью мы поднялись, как всегда, рано, и вскоре наша машина уже пылила по пустынной дороге от Кош Хабля до Зеюко. Утро было холодным, ночью выпал иней и ударил легкий мороз. Стекла машины замерзли, а ветер с гор, усыпанных свежим снегом, мешал их оттаиванию.

Желтые листья тополей, не успевшие опасть, зябко подрагивали. В мелких лужах, оставшихся на обочинах после вчерашнего дождя, отражалось холодное небо.

В Зеюко Пата остановился возле бригадного двора, где его уже ожидали мужчины — все в плотных суконных галифе, в сапогах и ватниках. На голове каждого из них красовалась круглая меховая шапка. Они стояли солидно, не пряча рук от холода в карманы и даже молчали тоже как-то солидно. Разговор, как потом и в других бригадах, вертелся все время вокруг уборки и вывозки сахарной свеклы. Погода портилась и, чтобы не нести убытков, свеклу надо было доставить на сахарный завод без малейшего промедления. Ну и, конечно, при этом не забывать о кукурузе и кормах, которые тоже не могли больше оставаться на полях.

Две женщины стояли поодаль и молча слушали неторопливый, но полный ответственности разговор мужчин. На одной был красный платок, повязанный домиком, пронзительные глаза смотрели из-под него. Когда отходили к машине, она окликнула:

— Пата!

Пата остановился, всмотрелся, улыбнулся женщине, поприветствовал ее по-черкесски. Она также начала говорить по-черкесски, но потом, разволновавшись, перешла на русский. Мужчины стояли и слушали ее невозмутимо. Женщина горячо говорила о двух мешках пшеницы, которые ездовой не взял у нее на мельницу. Вторая женщина стояла не шевелясь и все так же поодаль. Никто из мужчин не повернул головы и не обронил ни слова. Женщина перестала говорить и Пата, обернувшись, сказал после короткой паузы бригадиру:

— Сегодня же отправить. Бригадир опустил глаза и коротко ответил:

— Хорошо.

Мы уехали, но Пата еще долго и мрачно молчал, время от времени тяжело вздыхая. Потом сказал, как бы подытоживая свои размышления:

— А ведь хороший бригадир и человек честный.

Снова помолчал и обрезал:

— Поступил, как самодур...

После объезда бригад мы отправились в Хабез, в райком партии, где у второго секретаря должно было состояться совещание. Несколько дней перед этим над краем бушевала невиданная по неистовству черная буря. Она выдувала почву с посевами, разрушала коровники и кошары, срывала крыши с домов жителей аула. Имелись даже человеческие жертвы. Теперь ветер постепенно утихал, и пора было считать убытки, чтобы доложить о них областному комитету партии, откуда уже звонил первый секретарь товарищ Бурмистров. Он сказал, в порядке информации, что между Пятигорском и Черкесском ветер дул особенно сильно, что в первую очередь помощь будет оказана хозяйствам, расположенным в этом направлении, но что и другие районы получают все необходимое для немедленной ликвидации последствий урагана.

— Мы должны мобилизоваться, проверить все и доложить ущерб,— сказал секретарь райкома. — Только отнеситесь, товарищи, к этому серьезно. А то ведь я знаю вас — потребуете под бурю и то, что вам не особенно нужно!

Участники совещания задвигались на стульях, заулыбались, некоторые деланно отвернулись к окнам, будто не их касалась эта фраза секретаря.

— Ну и, конечно, не снижать темпов уборки свеклы и кукурузы,— продолжал секретарь, чуть ли не буквально повторив слышанные еще утром слова Паты.— А также не забывать и о подъеме зяби!..

Слова и мысли о хозяйстве были привычны собравшимся, любой понимал цену каждому осеннему часу, и потому никто не возражал и не жаловался. На совещании было тихо, и оживились люди только тогда, когда секретарь покритиковал руководителей колхоза «Рассвет».

— Всем нам абсолютно ясно,— сказал секретарь,— что вы идете на перевыполнение плана по сдаче свеклы государству. Это в принципе хорошо. Но при этом вы не буртуете свои корма. Смотрите, как бы не пришлось нам весной ходить с мешками под окнами обкома и

облисполкома,— закончил он под общим смех.

— Да уж мы это поняли!— сказал председатель «Рассвета», чем снова вызвал веселое оживление и дружеские шутки...

В этот день, как бывало часто и раньше, мы долго ездили по полям и фермам. Мы забыли о завтраке и обеде, как забыли о них, наверное, все люди тогда. Мы подсчитывали убытки. На удивление, буря принесшая значительные разрушения в соседних колхозах и совхозах, пощадила колхоз «Путь Ильича». Пата даже развеселился, поняв это, и на обратном долгом пути к дому неожиданно начал рассказывать о себе. Неожиданно, потому что перед тем, сколько я ни просил его, он лишь отнекивался да отшучивался, да отсылал меня для разговора с другими людьми колхоза, уверяя, что они и интереснее его, и более достойны, чтобы о них писали.

— Вот, например, Сакиев Яхья,— говорил он.— Когда я пришел в колхоз в тридцатом году и начал работать пастухом, он был уже авторитетным вожаком молодежи. Мы часто тогда беседовали с ним, он-то и направил меня по правильному пути.

Пятнадцать лет было Пате, когда он стал пастухом общественного колхозного стада. Вскоре смысленность его заметили, старательность и рачительность хозяйственную тоже и послали учиться на курсы счетоводов — очень большая нужда появилась у аульчан в людях, которые могли сохранить и поддержать добро, принадлежащее всем.

Окончив курсы, Пата стал учетчиком полеводческой бригады, вскоре после этого его избрали заведующим молочнотоварной фермой. А там и служба в армии подоспела. Шел тридцать восьмой год. Точнее — его конец.

В минуты откровенности, в те редкие минуты, когда он решается говорить о себе вообще, Пата вспоминает, что именно армия окончательна и решительно повлияла на формирование его характера, на чувства, даже на житейские его взгляды. Ведь в конце концов, говорит он, те годы были решающими не только для страны в целом, но и для отдельных людей.

Пата участвовал в освобождении Бессарабии, своими глазами видел, как отвратительно бедно жили бессарабские крестьяне, какими униженными они были под властью чужого им румынского короля, и сердце его сжималось от сочувствия к ним. Ему тем более понятна радость освобождения крестьян, что и самому отлично помнились времена, когда родной ему землей командовали жадные и глуповатые в своей самовлюбленности князья Атажукины.

В начавшемся 1941 году кончалась его служба, и он уже предвкушал свое веселое возвращение в Кизилую Балку.

Но в мае сорок первого их неожиданно снова перебросили за Днестр, к реке Прут. Не положено солдатам спрашивать командиров, куда и почему они идут, но старослужащие иногда нарушают такое правило, и командиры тогда отвечали им, что за Днестром неплохая местность для проведения очередных тактических занятий. Вот, мол, проведем эти учения и — до свидания!

Вечером, под выходной, 21 июня, солдаты артиллерийской части сидели на плащпалатках перед нешироким белым, экраном и ожидали начала фильма. Было тепло, тихо, пахло травой и влагой от недалекого ручья. Солдаты-старослужащие отгруппировались отдельно от всех, к разговор среди них шел о близкой демобилизации, о поездке домой. Гадали, когда это случится и сообща решили, подсчитали, что не позже сентября.

В четыре часа утра их подняли по тревоге. Пата вспоминает, что при этом обошлось без чьего-то ворчания: «И кому это вздумалось объявлять тревогу под выходной?..» Но почти одновременно с вопросом на лес, где укрывалась их часть, посыпались бомбы. Самолеты с характерным для немецких перебегающим гулом низко летели над лесом, и после каждого их пролета вздымались к небу черные столбы земли и дыма, падали исковерканные деревья, и чернел вокруг воздух.

Форсированным маршем войска наши покинули обнаруженное врагом место, а когда пришли туда, где было

поспокойнее и где можно собраться для митинга, перед ними выступил взволнованный, но уверенный генерал, с очень твердым и прямым взглядом, и сказал, что немцы нарушили мирный договор и вероломно напали на нашу страну.

— Но мы пойдем вперед, товарищи,— сказал генерал,— за Родину. Мы должны воевать так, чтобы завтракать в Варшаве, а обедать уже в Берлине...

Бравый был генерал, вспоминает Пата, но, к сожалению, не сразу получилось так, как он этого хотел. Девятнадцать суток наши подразделения держали оборону на реке Прут, не давали немцам переправиться. Об этих сутках вспоминать тяжело, но и радостно в то же время. Тяжело потому что, можно сказать, все время находились в непрерывном бою. Немцы, обозленные неожиданной для них задержкой, обрушивали на наш берег всю мощь своего огня — с земли и с воздуха. Ни днем, ни ночью не прекращались канонады, не остывала у немцев надежда сходу наладить переправу. Но все их попытки каждый раз кончались новым поражением. Наши солдаты, понявшие, что грозного врага можно не только успешно удерживать, но, быть может, и гнать восвояси, воевали все увереннее и в одно время прошли даже слухи о скором наступлении, однако, на двадцатые сутки пришел приказ об отступлении.

Отходили с горечью в сердце. Жаркие южные степи, поросшие ковылем и полынью, оставались позади. Поля, с которых не успели убрать урожай, покрывались черными воронками от разрывов и, словно трещинами во время землетрясения, зигзагами окопов и противотанковых рвов. Изредка бушевали сухие неосвежающие грозы, и тогда казалось, что само небо разгневалось на людей и вот не дает им отдыха от грохота и вспышек.

Вспоминает Пата, как остановились они в очередной раз и окопались в местности с названием Красная Роща, под Одессой. Организовали оборону, но боеприпасов было маловато, командир приказал беречь их для решительного

момента. День был особенно жарким, трава вокруг батареи пожелтела и пожухла, пыль висела тонким, струящимся облаком. Немецкие минометы били по батарее, а потом, понимая, что у наших осталось мало снарядов, немцы подтянули свои минометы еще ближе и усилили огонь. Командир батареи приказал бить только наверняка, хорошо прицелившись, и вот, при очередном маневре, когда наш расчет ворочал ствол пушки, рядом разорвалась немецкая мина. Тяжелый осколок горячо и сильно ударил Пату в плечо. Он упал и потерял сознание.

Четыре месяца лежал Пата в госпитале, в Старой Мацесте, на берегу спокойного ласкового моря. Вокруг были пальмы, шелестящие длинными, жесткими листьями, тишина, нарушаемая лишь осторожным шорохом набегавших волн. Редко-редко покой этот нарушался налетами немецких самолетов, но ни разу отбомбиться им не удалось — наши зенитчики свое дело знали отлично. Ранение у Паты было тяжелым, врачи сознавали, что в строй ему уже не вернуться. Таких отправляли они в госпитали, что расположены поближе к родине раненого. Побуждала к тому и необходимость освобождать прифронтовые госпитали, куда поступали раненые все в большем количестве: война приобретала характер затяжной и напряженный.

Так попал Пата в черкесский госпиталь, где пролежал до мая 1942 года, оттуда и демобилизовался.

Он вернулся домой и тут узнал, как много друзей его погибло на фронтах. Остались, буквально, единицы из тех, с кем уходил он на службу.

Период короткой оккупации немцами Карачаево-Черкесии Абубекир Аргунов весь провел в высокогорных, скрытых от глаз врагов пастбищах. Он выполнял задание Советской власти, спасая колхозный скот. Это было трудное, тревожное и опасное время. Еще не совсем оправившийся от ранения,— забегая вперед, надо сказать, что и сейчас раны мучают его,— Пата вынужден был находиться в горах, среди скал, под снегами и холодными, затяжными ливнями

осени и зимы сорок второго. Выручало только сознание, что скот будет спасен для наших людей. Но иногда и тоскливо становилось на душе, особенно если густые, непроглядные туманы повисали над Верхней Башкиркой, туманы, в которых трудно было разглядеть корову даже в метре от себя. Туманным казалось и будущее: никто не сомневался, что враг будет побежден, но ведь никто в те дни не мог и предсказать, когда это случится...

Зимой 1943 года, после изгнания немцев, председателем колхоза имени Штейнгардта стал Яхья Сакиев. Пата, после невыносимо трудной зимовки на Верхней Башкирке, чувствовал себя особенно плохо и почти не выходил на улицу, отогреваясь у печки. Ознобы и боли в плече мучали его. Но надо было приниматься за дело.

Никогда не забудет он холодного февральского дня, когда снег в ауле и на косогорах уже сошел, но солнце не в силах было прогреть оцепеневшую землю. Отогрелся только верхний ее слой, жидкая грязь чавкала под ногами, скользила, дымилась паром на кочковатой земле. Он вышел на улицу у своего бедного приземистого домика и, одолевая слабость, пошел к центру аула. Он не прошел и ста метров от калитки, как увидел идущих навстречу женщин.

— Мы к тебе, Пата,— сказала та, что была первой.

— А что случилось?

— Становись у нас председателем. Так старики советуют.

— Но ведь у меня нет опыта,— сказал Пата, несколько растерявшись.— И потом — ведь я болен.

— Становись председателем, Пата,— заговорили женщины, окружив его полукольцом.— Ведь Яхья еще сильнее болен, чем ты. И у него вообще руки нет. А кроме вас нет мужчин в ауле. Да и старики так советовали...

Он все-таки настоял на том, чтобы дали ему время осмотреться, узнать возможности колхоза, поработать рядовым, чтобы вспомнить труд крестьянина с самого начала. Ведь столько лет прошло с

поры, когда он ушел отсюда солдатом. Зима на Башкирке не в счет, он и там выполнял, по существу, тот же солдатский долг, и все.

В конце сорок третьего он уехал в Ставрополь, на месячные курсы председателей, а вернулся оттуда — сразу был избран главой колхоза имени Штейнгардта. Яхья Сакиев остался членом правления и ближайшим помощником Паты.

Приняв дела и осмотрев колхозное имущество, он пришел в ужас. В закромах, словно самая великая драгоценность, хранилось тринадцать центнеров проса, ничего больше. Тут и семенной фонд, и все остальное. Пахать было не на чем. Кормить людей нечем. Как когда-то в самом начале существования колхоза, люди брали в руки лопаты и копали ими землю, за-скорузлую от непогод. Весь крупный рогатый скот, большинство которого составляли коровы, дававшие едва ли не единственное пропитание в семьях аульчан, тоже был выведен в поля и запряжен в плуги. Хорошо еще, что постепенно подрастали мальчишки и возвращались раненые с фронта, они поддерживали Пату не только морально. Они становились организаторами производства. И первым среди них был Али Дышеков. Трудно было до того, что иногда в голову приходила нелепая и жестокая мысль: «Лучше бы меня убило на фронте».

Пожалуй, именно тогда впервые почувствовал он физическую боль в сердце: вокруг него ходили и работали пухлые от голода люди. Страна помогала колхозам, но у страны было много забот, особенно на фронтах, и потому тем, кто оставался в тылу, следовало больше надеяться на собственные силы.

Все же кое-что присылали сюда и колхозы, которых не коснулась оккупация и разорение, и заводы. Этого было мало, но лучше, чем ничего. Во всяком случае, для тех, кто постоянно работал в поле, можно было установить пайки. Подкармливали и тех, кто ослабел особенно тяжело. Подкармливали на дому, но люди тянулись в поля. Они — крестьяне, знающие целебную силу родного воздуха и труда,



привыкшие быть вместе, в коллективе, теперь то и дело приходили к Пате и просились туда, где готовился будущий урожай.

— Однажды зашел я к Баранукову Али,— рассказывал Пата.— Мне сказали, что он совсем плохой. Прихожу, а он лежит в постели, опухший.

— Что с тобой? — спрашиваю, хоть и без того ясно.

— Помираю, Пата,— говорит.

— Ничего, не думай об этом, будем кормить потихоньку, поднимешься,— говорю я.

— Ты только вывези меня в поле, я там отдышусь и работать начну,— отвечает Али, согласно кивая головой.

Ну, отвезли мы его в поле, положили возле кухни, а сами работать пошли. Я тоже с тяпкой ушел далеко от стана, на прополку. И вот через некоторое время прибежали со стана ребятишки и кричат:

— Али умер!

Я позвал сына его, Сагиба, и сказал:

— Бери коня и езжай в правление, материал нужен для похорон.

— Не поеду, пока не поем, — отвечает Сагиб.

Что поделаешь, трудное было время, люди иногда сами на себя не похожими становились. Пошел я на стан. Али уже положили вверх лицом, платком челюсть подвязали ему, чтобы в таком положении застыла, все как надо сделали. Люди вокруг стоят и плачут. Горько мне, тяжело, но по солдатской привычке все же взял я пульс у Али пощупать. На фронте мы никогда товарищей не хоронили прежде, чем окончательно не убедимся, что мертвый. Щупаю я пульс и чувствую, что бьется.

— Дайте воды,— говорю.

Принесли мне воды. Я холодной водой этой протер Али лоб, щеки, грудь. Тут он открыл глаза, присмотрелся и спрашивает:

— Пата, это ты? Сними повара с работы.

— Почему?

— Он плохо меня кормит.

— Повара сейчас снять труднее, чем министра,— говорю ему. А сам кашевара нашего подзываю и спрашиваю, в чем дело.

Оказалось, что Али пригрозил ему, что по дружбе со мной он договорился и снимет того с работы, если он плохо будет кормить. Повар напугался и от души накормил Али мясом. С непривычки Али стало так плохо, что он потерял сознание. И смех, и грех.

— Езжай домой, — говорю я Али.

— Не поеду!— отвечает.— Еще хотя бы дня два тут пробуду.

— Я сам,— говорю,— носить тебе буду пищу домой, только езжай.

Положили его на подводу, я рубашку свою нательную надел на него, и он уехал. Пришлось, действительно, потом носить ему кормежку с поля. Он выздоровел и до самой смерти работал в колхозе очень хорошо. Умер недавно. А Сагиб, сын его, тоже работал некоторое время, а потом куда-то уехал. Не знаю куда. Да и никто не интересовался этим.

С каждым днем страна присылала Кизиловой Балке все больше продуктов, семян, техники. Люди веселели, понимая, что они не брошенцы судьбы, не сироты, а полноправные члены огромной и непобедимой страны, имя которой — Страна Советов. И они веселели. И с каждым днем становились сильнее. И, голодая, падая от усталости, выжили и выстояли. Уже в сорок третьем году, имея, как мы помним, всего тринадцать центнеров проса, кормясь этим просом, они получили семенной фонд от государства и смогли осенью продать государству 6180 центнеров зерна, 660 центнеров подсолнечника, 1790 центнеров картофеля, 657 центнеров мяса, 845 центнеров молока, 48 центнеров шерсти, 14 тысяч штук яиц.

Эти цифры мало что скажут специалистам, которым надо тут же объяснить, сколько Кизиловая Балка имела пахотной земли, сколько скота, кур, овец и так далее. Эти цифры совсем ничего не принесут людям, далеким от сельского хозяйства, ибо им не с чем сравнить их. Старики трех аулов, которые объединяются сейчас под одной крышей колхоза «Путь Ильича», покачивают головами, вспоминая те годы: «Волляги, мало собирали, очень мало! Сейчас на той же земле мы собираем в пять, в семь раз больше всего!..»

Старики мудры, они понимают даже и то, что мудрость — дочь опыта. И потому не станут объяснять непосвященному, каких невероятных трудов стоило получить то, о чем сказано. Они помолчат, опустив головы в тяжелых папах на легкие, сухие коричневые кисти рук, лежащие на кизиловых палках. Имеющие душу — поймут.

Еще рассказал Пата.

«Когда пришел первый, не очень богатый урожай, мы не могли дать людям хлеба вдоволь. Горские мужчины, когда им трудно, молчат. Женщины равняются по мужчинам. Голодные дети — плачут. Они надрыдают сердца матерей. Раненой притворяется птица, чтобы увести врага от своего гнезда. Разве голод не враг?»

Однажды назначил я сторожем на ток одного старика. Воровали с токов.

— Охраняй получше, — говорю. — Я буду помогать.

— Ладно, — сказал старик. — Не беспокойся...

Через некоторое время приходит в правление и прямо ко мне:

— Я хочу поговорить наедине.

Тогда все правление помещалось в одной комнате, двадцать пар ушей слушали. Я поднялся, и мы вышли в коридор, а потом на улицу.

— Освободи, Пата, — говорит Якуб, так старика звали, — не осироти детей моих.

— Угрожают?

— Нет. Ведьма приходит, по ночам и говорит: «Ты становись моим мужем и давай уйдем отсюда...»

— Не ври, — говорю ему.

— Волляги — правда! — божится Якуб.

— Слушай, — говорю, — Якуб, не морочь голову.

А сам в это время размышляю, как быть. Если людям тяжело жить, они особенно верят в нечистую силу. А Якуб, видя, что я молчу, говорит:

— Люди на тебя молву пускают, что ты колдун.

— Вот как?

— Ага. Говорят, что по ночам ходишь.

А я действительно ходил тогда по ночам по полям, не сиделось дома, не спалось. А там послушаю, как кукуруза шелестит подсыхающими листьями, или ботва картофельная шуршит, да сено пахнет — и развидняется на душе. И тут же план у меня созрел. Не стал уверять Якуба, что ведьм на свете не бывает, а говорю:

— Скажу ведьме, чтобы она оставила тебя в покое...

А назавтра забыл и о ведьме, и о старике. До того ли было. Вспомнил, когда снова он пришел в правление и поманил пальцем в коридор. Вышел я, глянул и даже сам испугался немного — так изменилось лицо его. Видно, что действительно страшно ему. Однако спрашиваю бодро:

— Как дела?

— Так же, — отвечает он таинственным шепотом.

— Морочишь голову?

— Волляги, правда...

Этой же ночью я решил проверить все сам. Помню, луна светила, и тишина стояла над полем. Спрятался я за повозку и наблюдаю. Сторожа не видно, наверное, забежал куда-то от страха. И вот вскоре увидел я — идет женщина, одетая странно, волосы у нее распущены и походка какая-то странная. Мелькнула мысль: почему собака молчит? Откровенно признаюсь, жутковато стало.

А женщина подходит к бурту и набирает в чашку пшеницы. Э-э, думаю, практичная ведьма! Подошел потихоньку сзади и взял ее за волосы. Она вскрикнула, оглянулась и узнала меня. И я ее узнал, конечно. Заплакала она и говорит:

— Не сажай, Пата.

— Зачем так делаешь? — спрашиваю, а самому стыдно и противно.

— Детей кормить надо...

И вспомнил я, что незадолго перед этим приходила она ко мне, троих детей своих приводила, плакала. Муж на фронте погиб, дети и она остались одни. Возьмите, говорила, детей, пропадут они. Я тогда успокаивал ее, обещал помочь, да разве она одна такая была? Ну, и помогал несколько раз, а что толку...

— Почему еще не приходила? — спрашиваю ее.

— Стыдно. А эту пшеницу я варю и пять дней дети едят, пока я на работе, ты же сам знаешь...

Отпустил я ее, пришел ночью в контору и плакал там до утра, а потом дал себе клятву, что или угроблю себя, или подниму колхоз...

Через некоторое время снова встретил Якуба, уже на улице. Ничего выглядел, даже выпрямился немного. Заметил меня и улыбается.

— Ну что, Якуб? — спрашиваю. — Как дела?

— Опять приходила, — говорит он и делает озабоченное лицо. Замуж просит взять.

— Врешь, Якуб, больше она не придет!

Посмотрел он на меня удивленно, губами молча пошевелил, будто молитву читал, а потом сказал:

— Наверно, правду говорят, что ты колдун!..

Тяжелыми были условия военного времени и все же колхозники Кизиловой Балки с каждым годом давали государству больше и больше продуктов сельского хозяйства. А страна в ответ все больше присылала машин и необходимого инвентаря. А там и война кончилась, армия начала помогать колхозам. В сорок шестом году, по ходатайству депутата Верховного Совета генерал-лейтенанта Коровникова, которого избирали в Кизиловой Балке, армейские части передали сюда сто голов рабочих лошадей, подводы, сбрую и многое другое, так необходимое земледельцам. Сейчас все это может показаться не такой уж большой помощью, но если вспомнить, что пахать приходилось на коровах, то она станет огромной.

Вскоре в домах колхозников, во всех трех аулах, впервые загорелись электрические лампочки — колхоз «Путь Ильича» первым на всем Зеленчуке построил свою гидроэлектростанцию и свой радиоузел. На токах заработали электрифицированные зерноочистительные машины, загудела пилорама, а колхозники почти поголовно приобрели радиоприемники, электроплиты, электроутюги и

всякие другие бытовые приборы. Слово «электричество» стало модным, словно какая-нибудь хорошая песня. А решения сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии в 1953 году вообще стали поворотным пунктом всей нашей страны, в том числе Кизиловой Балки.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не легко было поднимать хозяйство, еще труднее — воспитывать людей, прививать им веру в труд, в то, что он не бесполезен. Ведь только в сорок седьмом году правление смогло впервые дать натуральную оплату на трудодни. Перед этим, в сорок шестом, правление решило дать сорок восемь центнеров зерна на всех колхозников, сейчас одна семья столько получает. Но райком приказал собрать обратно, да еще, как говорится, выводы сделал «за самоуправство и растратирование колхозного добра». Какое уж там растратирование, если колхозникам дали! Но пришлось собрать. Это не укрепляло веру людей, конечно. Потому и начали приворовывать кукурузу в сорок седьмом, когда уродила она очень хорошо. Пришлось специальное собрание созывать. Словно в анекдоте звучат сейчас такие вещи, но ведь было, было так, и глупо делать вид, что не было!

— Не воруйте, — сказал Пататогда, — урожай хороший, дадим по три килограмма на трудодень.

Молчание было ответом ему, а потом кто-то из задних рядов крикнул:

— Как в прошлом году? А потом назад отбирать будете?

Зашумел народ и снова умолк, повернув головы к Пате: что скажет?

— Обязательно дадим, — твердо сказал Пата. — Если верите мне — делайте, как я сказал. Не выполню своего обещания — сам уйду, не буду ждать, пока меня прогоните с позором...

И выполнил свое обещание Пата. Получили колхозники по три килограмма на трудодень зерна. Получили и многое другое. И перевыполнили государственный план. И получили за это ордена. Высшей наградой — орденом Ленина — награждены были кукурузоводы Кулиц Папшуова, Таибат Абидокова (ныне

покойная), Марьян Абидокова, доярка Цуца Саикева, чабан Умар Папшуов, бригадир Сагид Дышеков. Орден Трудового Красного Знамени получили Ибрагим Кантемиров Фатимат Кенчешаова, Умар Кенчешаов, Мухадин Дышеков, Хасан Карданов, Мадина Отарова. Это были первые орденосцы Кизиловой Балки, получившие награды за свой нелегкий труд. Потом их становилось все больше.

— Но дальше было все легче,— говорит Пата...

От далекой фермы и до Зеюко поливал нас мелкий, нудный и холодный дождь. То, что он холодный, было заметно даже сквозь машинное тепло, сберегаемое брезентом.

На асфальте, сплошь покрытом рытвинами и буграми — плохо мы еще строим дороги!— кисла скользкая грязь. Перед самым въездом в Зеюко Пата вдруг сказал шоферу:

— Сверни на птицеферму.

Шофер, не успев затормозить, круто повернул и нас занесло слегка, но тут же машина покатила по гравию. Мы проехали один маленький спуск, потом второй — побольше и покруче — и, прокатившись еще метров двести, остановились.

Огромные птичники с огороженными дворами, с великим множеством кормушек и поилок окружали нас. Тысячи и тысячи леггорнов бродили по широкой поляне, поросшей низкой травой, вдоль неглубокого, каменистого овражка. Петухи, которых было множество, наперебой кричали свое «кукареку». Один из них, очевидно, отчаянный драчун, бесхвостый, с голым задом, вертелся вокруг длинноногой и кокетливой, как Брижит Бардо, курицы и кричал «кукареку». Наверное, просил не задевать его.

Из домика вышли и встретили нас птичницы Гашиляна Дышекова и Рая Эшерокова, Пата заговорил с ними о подготовке большой партии птицы, которую назавтра следовало отправить на мясокомбинат. Все вместе мы прошли и осмотрели ящики для посадки кур, потом девушки пригласили нас в дом и, только войдя туда, я вспомнил, что сегодня мы

ничего не ели. В первой комнате или в просторных сенцах друг на друге стояли ящики, в которых, аккуратно переложённые соломой, лежали сотни и тысячи яиц — завтра их также отправят в магазины города. Во второй большой и чистой комнате горела печка, в углу стояла чисто застеленная кровать, на столе в широкой сковородке потрескивала маслом яичница. Свежий хлеб, нарезанный и разложенный затейливой горкой, лежал рядом со сковородой.

— Вы знали, что мы приедем?— шутливо спросил Пата.

— О, Пата, мы всегда тебя ждем! — смеясь ответили девушки.